



А. С. ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ

Святая Русь и русское призвание. Гл. 1

БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ — ВЕЛИКАЯ РОССИЯ

Гром грянул, и перекрестилась святая Русь, гром грянул, и обозначилось крестное сложение перстов ее, дотоле застывших и как бы неживых, поднялась мощная народная рука и осенила крестным знамением богатырскую грудь.

Стала Русь живая и величавая, воле судеб своих послушная, страшная любовью своей, великим смирением гордая и какая-то изумительно простая, целомудренная на слово, верная, вечная, неисчислимая, неизъяснимая...

Стало очевидно — Россия есть. Воочию, молниеносным постижением открылось, что родина есть, есть Россия, но *что* она есть — это для слепого, повседневного народного «я» остается по-прежнему загадкой, только теперь загадка эта зовет и манит неодолимо, загадка теперь уже не может жить без отгадки, каждый миг кажется загадка эта уже разгаданной... Чувственному постижению чуждается тайна раскрытой, до того она близка теперь, где-то не только около нас, прямо в нас, внутри нас, близкая, своя, внутренняя... Обладание ею обманывает: кажется, можно взять рукой трепещущую золотым пламенем тайну русского бытия, русскую идею и вынести на свет познания, понимания, духовного постижения. Указать на то, что *есть* она, не значит ли узнать-назвать, *что* она есть. Видение несомненно, но чтобы убедиться в его подлинной сущности, нужно раскрыть его смысл, вымолвить его слово, слово — откровение о том, что оно существенно *есть*, это видение нуменального существа России, и *что* оно есть.

Но где же сказано такое слово о России? Загадка страшная, загадка радостная, вся боль и радость сознания русского около этой загадки, весь ужас и восторг самосознания русского здесь, около тайны отгадки загадки этой. Спасением ли, гибелью ли разрешится она — от нее нельзя отойти...

Поставив в 1888 г. проблему о русской идее, о смысле существования России во всемирной истории, Владимир Соловьев сказал: «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»¹. Очень хорошо, красиво и вместе существенно, окончательно сказано, однако, и завлекательно-безнадежно в то же самое время, безнадежно умно, именно безнадежно для индивидуальной русской мысли. Ведь в «вечных истинах религии», в которых советует Вл. Соловьев искать ответа и сам действительно ищет, ничего нельзя найти прямо и ответчиво говорящего о смысле существования России, о том, *что* она есть. Однако, с другой стороны, нельзя не искать, в конце концов, ответа именно там, в вечных истинах религии. Как же быть? Пытаться возвести проникновенные мысли русских мыслителей о России на степень Божьих мыслей, поставить их слова о России в порядок прямого откровения, признать их писание, таким образом, священным писанием и провидения их пророчествованиями, значило бы просто-напросто впасть в прелесть, поддаться дерзкому искушению самочинного и своеумного обожения. Однако и отбросить эти великие русские мысли о России, эти проникновения и прозрения России о самой себе, также нельзя без самозваного юродства и гордого уродства. Считаться с ними в качестве как бы особого вида *пророчествования от человек* приходится просто из послушания, из правдивой простоты требования разума и сердца. И ничто, никакое живое слово человеческое, русское слово, — от мечтаний московских людей XV века о Москве как третьем Риме, до... Вл. Соловьева, Достоевского и Константина Леонтьева, ничто не только не может быть сброшено с текущего счета русского мессианского самосознания, но и должно быть призвано в своем праве раскрывать идею нации, русскую идею, тайну святой Руси, думать о ней во времени, хотя полное завершающее и окончательное раскрытие того, что Бог думает о ней в вечности, возможно, конечно, только в порядке откровенных знаний подлинных пророчествований и обетований. Разумеется также, что не всякое русское слово о судьбах России, призванное в своем праве, должно быть вместе с тем признано и в своей правде. Много званых, мало избранных. Но, во всяком случае, прозрения сынов человеческих в идею нации возможны. А если им, — отцам и братьям нашим, — можно, то и нам не невозможно мыслить-молить о судьбах родины своей. Если они должны быть и есть в нас, то мы можем и должны быть в них и усилиями соборного русского мышления-моления соучаствовать в судьбах русского мессианизма, в вечной Божьей мысли о святой Руси.

Перелетая мысленно от стародавних мечтаний московских людей времен соборания русской земли к точке срыва в современность, я не случайно назвал три имени: Вл. Соловьева, К. Леонтьева и Достоевского. Здесь последние следы великаньих шагов русского мессианизма и вместе три типичных разрешения вопроса о русском призвании, три последних разгадки стародавней русской загадки. Далее не то что обрыв, а гул современности, сложность и боль настоящего дня, муки умирания и рождения вместе, словом, плавучесть, а потому незаконченность узора. На грани же нашего времени эти три младших богатыря русского мессианизма, эти, в некотором смысле, первые среди последних славянофилов величественно и красиво замыкают собой путь русской мысли, пройденный от пробуждения русского мессианизма после Отечественной войны 1812 г. в раннем славянофильстве и окончательно заверченный до начала войны 1914 г. Узорчато углубленные мысли, идущие от них в современность, все проходят через глубины изломов этой нашей неизжитой современности и незавершенными, недорисованными уходят в тайну настоящей войны, в тайну времен грядущих.

Венчанное кольцо мыслей о русском призвании, развернувшееся в славянофильстве, как бы слилось и замкнулось в какой-то спайке на этих трех именах, и каждое из них влилось в него самоцветным камнем. Стало три загадочно глазастых драгоценных камня в кольце. И венчалное прежде, оно стало перстнем, чудо-перстнем, упавшим в море русской мысли. Вылавливай его и разгадывай таинственный смысл камней самоцветных. Ничто живое и русское не осталось вне кольца, в цветистой мгле его радужных сияний можно видеть и крылатую радость Пушкина, и мглисто-огненную тайну Гоголя, и всех и вся... Однако венчалное-обручалное, оно стало снова и опять перстнем... Что это? Или венчанная и совсем уже брачная Россия все еще остается предбрачной, все еще невестится невеста белая; названная жена, она все еще дева, но жених с ней и радость несказанная.

I

Сто лет тому назад, в испытаниях Отечественной войны, Россия, среди боли, мук и восторгов, как бы обрела себя, *вдруг* обрела и изумилась изумлением великим, обрела и умилилась умилением дивным. В эту страстную годину свою страна пережила радость встречи с собой. Эта радость встречи с собой, со

своим внутренним и тайным, явления с сущностью, феномена с нуменом, дается нации, как и отдельному человеку, в редкие исключительные минуты и именно в страстные минуты, во дни внезапных нечаянных пробуждений, великих отчаянных потрясений, в судные дни огненных озарений болевого воскресления, на краю бездны, в бою, среди смертоносных заболеваний. И тогда какие-то большие внутренние очи раскрываются у народа ли, у отдельного ли человека, и явственно свершается тогда какое-то чудо тайнозрения, скрытого видения себя, глубины своей, сути внутри. Нация как бы в видении узрит свое тайное как явное. Мистическую ночную звездную глубину правды своей, славы своей, венчанной судьбы своей узрит тогда нация как дневную будничную явь. И в момент ниспосланного испытания, на самом остром режущего меча, в сокровенном болевом узле, разверзаются недра народной сущности, и потом, возвращаясь к ним сознанием, творческая народная мысль питательно ими живет долго, долго... И оказавшись, таким образом, с обретенной находкой, наедине с собой, Россия, окрыленная царственным окрылением державной мечты своей, мечты венчанной венцом подлинной орлиной выси своей, соединила даль веков своего прошлого с живою грезой грядущего благословенностью пережитой години Отечественной войны. Благословенное соединение, благословение священное и царственное, пророчески раскрылось в творческом осиянии сначала дневного солнечного гения Пушкина, затем ночного, звездного гения Гоголя... Россия узрела себя, и обозначилось вокруг нее благословенное кольцо. Пробудилась работа русской мысли, сознательной уже и вместе органически слитой с явленной народной былью. И вот на этой-то ниве созрела и, наконец, развернулась во всю свою истинно богатырскую мощь русская мысль о призвании России, так называемое славянофильство. Оно поместилось между двумя крайними точками русского непосредственного художественного творчества. Русская белая явь в Пушкине и русский вещий сон в Гоголе, а между ними, тоже русская небыль, да и не сказка, не явь, да и не сон — русские думы и упования славянофилов, мечта о святой Руси.

Славянофильство, как органический пласт русской мысли, как литературно-историческую быль, не обидно поместить между мраморным Пушкиным и бронзовым Гоголем. О них отнюдь не иносказательно приходится говорить: *богатыри*. Хомяков, бр. Киреевские, К. Аксаков — это вправду богатыри, старшие богатыри славянофильства, богатыри сказочной были русской мессианистической мысли.

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года².

Когда пробегаешь взором по узорчатой душевной ткани того опыта мысли и жизни, который оставили после себя эти славянофилы в истории нашего общества, встает в сознании что-то утреннее, ярко светящееся, насквозь прозрачное, чистое, золотистым солнышком разогретое и нежное-нежное, как речной песочек, и вместе целомудренно простое, детски крепкое, уютно-теплое, белое... Что-то действительно детски простое было в славянофильстве, цельное, русскою колыбелью пригретое, но и детски честное, правдивое, детски глубокое вместе. Золотистые ли сны под лазурной синевой небес, золото в лазури, или солнечная позолота на снежно блестящей белизне. Праздничное утро, ранняя обедня и радость строгая, высокая, ревниво стерегущая свой день. Распахнулось окно в сад цветистый, торжественно тихий и величаво задумчивый, радостью солнца все так и залито, а прозрачный воздух сочится видимыми струйками, бриллиантятся зелень листочков, лаской жары напоенная, обещающе трепетное жужжание и уверяющий птичий щебет, цветочный концерт запахов, а там в поле спелая рожь колосится, весело улыбочивое, жарко пахнет хлебом, нагретой землей и урожаем. Полная чаша даров земли, неиспитая еще, неизжитая, и не видать ей дна... А впереди — дали, дали синие, дали золотые, такие же прекрасные, как радужная правда снов былого. Чудное «было» там, сзади, во сне; чудотворное что-то ждет — стережет, обещается впереди, зовет, манит и сулит рай сердцу русскому, клад тайный, кем-то заколдованный, птицу-жар, обетованное белое русское царство.

И вот от самого этого златокудрого восхода славянофильства раннего утреннего росистого, прекрасного даже в преукрашенном славном язычестве своем, пушистом и мягком, от самого Хомякова, Ив. Киреевского и К. Аксакова до последнего звена развития сложной цепи славянофильской школы в закатном уже вечернем, сумрачно мгlistом К. Леонтьеве с его жертвенным, крестным, распятым славянофильством, движется пред нами одна и та же центральная проблема Востока и Запада, русского всемирно-исторического призвания. Как известно, славянофилы развивали свое ученье о русском призвании, раскрывали русскую идею в противопоставлении России Европе. Постигая свое русское изнутри, глубинным духовным касанием, интимно и тайнозрительно, они определяли его в сознании как органическое, целостное, существенно-жизненное и религиозное по преимуществу. Наше самосознание исторически яв-

ленное, как молния при столкновении туч, в войне России с Европой в 1812 г., развивается у славянофилов из противоположения России Западу, из критики западноевропейских основных начал, западноевропейской образованности. В основе этого противопоставления восточное православие, христианство чистое, верно хранимое на святой Руси, противопоставляется католически-лютеранскому христианству отъединившегося Запада. «Кроме разностей племенных, — говорит Киреевский в своей знаменитой статье «О характере просвещения Европы и его отношения к просвещению России», — еще три исторических особенности дали отличительный характер всему развитию просвещения на Западе: особая форма, через которую проникло в него христианство, особый вид, в котором проникла к нему образованность древне-классического мира, и, наконец, особые элементы, из которых сложилась в нем государственность. Христианство было душою умственной жизни народов на Западе, так же как и в России. Но в Западной Европе проникло оно единственно через церковь Римскую» *. Образованность древнего дохристианского мира воспринималась европейским Западом «почти исключительно в том особенном виде, какой она приняла в жизни древнего языческого Рима». «Образованность греческая и азиатская в чистом виде почти не проникли в Европу до самого почти покорения Константинополя». Особенность римской культуры, по мысли Киреевского, выразилась в господстве рассудочности над существенностью, «отличительный склад римского ума заключается в том именно, что в нем наружная рассудочность брала перевес над внутренней существенностью вещей». «Может быть, — высказывал догадку Киреевский, — даже эта римская особенность, эта оторванная рассудочность, эта излишняя склонность к наружному сцеплению понятий была одною из главнейших причин самого отпадения Рима». Таким образом, гармоническая целостность внутреннего умозрения, хранимая православным Востоком, на католическом Западе уже с самого IX века искривилась преломлением ее в односторонне-рационалистической призме языческого Рима. «Таким образом, подчинив веру логическим выводам рассудка, Западная церковь еще в IX веке положила внутри себя неминуемое семя реформации, которая поставила ту же Церковь перед судом того же логического разума, ею самую возвышенного над общим сознанием Церкви вселенской; и тогда еще мыслящий человек мог уже видеть Лютера из-за папы

* Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М.: Путь, 1911. Т. 1. С. 182.

Николая I, как, по словам римских католиков, мыслящий человек XVI века мог уже из-за Лютера предвидеть Штрауса» *.

Рационалист христианского Рима, вскормленный деспотией одностороннего *ratio*, этого лжедержавного отвлеченного начала, господствующего в Риме языческом, подточил самые основы религиозной культуры всего европейского Запада, основы незыблемые в христианстве восточном. Тонким губительным ядом всеразлагающего, всепожирающего *ratio* отравлена вся западная культура, начиная с основания своего. Хомяков видит глубокое отличие католического мира от православного, главным образом, в душевном нравственном бессилии, в измене соборности христианской любви, в гордыне рассудочного самоутверждения, отложившегося в новых догматах католичества. Вместе с религиозным расколом и нравственным отпадением Запада европейская мысль укрепилась на рационалистической самозаконности своей, отравила все и сама отравилась собственным ядом. «Рационализм, или логическая рассудочность, — говорит Хомяков, — должна была найти себе конечный венец и божественное освящение в новом создании целого мира. Такова была огромная задача, которую задал себе германский ум в Гегеле... Логика Гегеля следует назвать *воодухотворением отвлеченного начала* (*Einvergeistigung des Seins*). Никогда такой страшной задачи, такого дерзкого предприятия не задавал себе человек. Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлеченного бытия, не имеющего в себе никакой сущности. Само-сильный переход из нагой возможности во всю разнообразную и разумную существенность мира. Вымысел мифологии, так же как и мелкое отрицание Мефистофеля, исчезает перед этим действительным титанством человеческого разума» **. «Воссоздание цельного разума (т. е. духа) из понятия рассудка. Как скоро задача определила себя таким образом — путь должен был прекратиться: *всякий шаг вперед был невозможен*». И вот образуется «переродок рационализма» — материализм. И здесь и так скрывается злокачественная язва западного ума, «внутренняя болезнь» рационализма — начало безвольности (нецесарионизма), ведущая европейскую мысль к распадению, к самоотравлению... ***

Самодержавному внешнему рационализму западной философии, повисшему над бездной в немецком классическом идеа-

* Там же. С. 187, 190 и др.

** Хомяков А. С. Собр. соч. М., 1900. Т. 1. С. 267—268.

*** Там же. С. 291.

лизме Гегеля, славянофилы противопоставляют органическую жизненность и гармоническую целостность внутреннего духовного умозрения православного Востока. Они сознательно и глубоко, как-то духовно-чувственно ставили философское познание в зависимость от религиозного опыта, от христианского жизненного питания. Славянофилы чутко и тонко вскрыли духовную нечувственность философской мысли Запада, ее религиозную безвольность, беспочвенность, оторванность от питательных соков внутреннего и целостного духа. Философ славянофильства И. Киреевский требует понимания мысли чувством и духовной связи ее со всею существенностью жизненного опыта. Этим же отрывом от питательных корней целостного духа проникнута вся культура Запада.

Далее, в рационализме европейского Запада коренится самоутверждение личного начала, особенно сильно сказавшееся в сложении западноевропейской государственности. «Начавшись насилием, государства европейские должны были развиваться переворотами, ибо развитие государства есть ничто иное, как раскрытие внутренних начал, на которых оно основа. Поэтому европейские общества, основанные насилием, связанные формальностью личных отношений, проникнутые духом односторонней рассудочности, должны были развить в себе не общественный дух, но дух личной отдельности, связываемый узлами частных интересов и партий» *.

Всматриваясь в узоры тех или других положительных русских начал, отличающих Россию от Европы и представляющих собою как бы отдельные слагаемые мессианистических верований славянофилов, нужно всегда помнить, что славянофилы видели в них не столько то, что России дано, сколько то, что ей задано, не столько обладание, сколько предначертание, не столько уже расцветшее дерево, сколько его питательные корни, которые, если расчистить почву, распустанятся в пышном венчанном убранстве царственного цветения Руси. Любовное понимание русского прошлого, восторженное постижение русских начал питали в них чаяния грядущего. Но в высокой степени замечательно, что эти чаяния грядущей Руси у славянофилов раскрывались из самых недр русского былого. Их идеализм был не только существенно реалистический, почвенный, корневой, но и живой русский, свой. Мечты их изливались из самого сердца русской существенной действительности и питались глубинной правдой русской истории. Русская история независимо

* Киреевский И. В. Т. 1. С. 192.

от тех или других, верных или неверных, утверждений о ней в трудах славянофилов была для них не внешне навязанной данностью, не материально принудительной необходимостью, как чаще всего для западнического сознания, а духовной свободой тайного избрания, внутренней сыновней преданностью, душевной привязанностью. И это потому, что русское прошлое — их родное, лично родное, духовно родное, кровно родное, оно в них, оно — факт их внутреннего опыта, не столько исторического познания, сколько сердечного понимания, духовно-кровного постижения. Благостное проникание чувством родины, чувством святой Руси в быль минувшего дано им благодатно. И никогда, ни в мыслях, ни в чувствах, ни на миг не разрывали они этой живой интимной связи, не только не изменяли, но и просто не знали опытно, что значит отпадание, как дышитесь вне родимой груди. Трагизм разрыва с материнским сердцем нации был неведом славянофилам, они не знали яда той отравы, которой пропитано, которую, как свою правду, приняло отрицательное западническое движение русской мысли. Питательный ток русской истории шел через их сердце, как молоко матери через кровеносную систему ребенка. Они, не отрываясь, возлежали у материнской груди, вот отчего так сильны, нежны семейные чувства в них, так жив, действителен род, так развесисто-цветист, приветливо-зелен, ярк и сочен быт, так дивны роскошью простоты и неизъяснимостью вечно волнующей глубины их воистину русские женщины. Вспоминается, как уже взрослый К. Аксаков, как во дни детства, «хотя бы гостиная была полна гостей, точно так же целовал руки у отца и ласкался к нему, как бывало в детстве». И этот же К. Аксаков просто, как дерево без родной почвы, не смог жить после смерти отца. Гигант железного здоровья, за которое знаменитый доктор Овер прозвал его «печенегом», полный сил и духовного парения, он вдруг захирел и через полтора года умер от чахотки. — Не смог жить без отца.

То, что Россия *была*, славянофилы утверждали самым фактом своего существования, внутренним опытом положительного самосознания и тем же фактом утверждали они русскую особенность, русскую самобытность, несмотря на неверность многих или пускай бы даже всех отдельных противоположений России Европе. Сыновняя любовь может ошибаться в осознании отдельных родительских, материнских свойств и особенностей, но *мату* не только узнает эта любовь всегда и везде, но и будет всегда и неустанно искать ее, явленную в совершении правды своей в детях и внуках. Ревнивая высокая любовь сла-

вянофилов к русской святой служила прочным залогом, что они не предадут в своих чаяниях грядущего этот лик любимый, незаменимый, неизъяснимый, единственный. Национальное лицо России, вернее — чудотворный явленный лик ее (являющийся вместе и в веках русской истории, и в глубине глубин сердечного духовного умозрения) покрывал в сознании славянофилов все их идеальнейшие упования, всю искомую правду грядущих судеб мира. Поэтому судьбы эти разрешаются Россией, поэтому спасение мира, если не в России, то *через* Россию. Упоенные этим всеразрешающим уравнением, славянофилы еще не подозревали, не чуяли самой возможности трагического противоречия между уже явившейся святой Русью и своим упованием, между подлинным ликом русской жизни и всеобнимающим упованием его же явления в грядущих судьбах мира. Они не боялись подмен, смешения и подобий; угроза двойственности святой Руси в ее интимнейшей и реальнейшей живой данности и всеобъемлющей универсальной и идеальной заданности пред ними еще *не* раскрылась. Они скорее зорко, чутко замечали и больно переживали искажения лика в личинах, затемнения внутреннего и глубокого во внешнем и поверхностном, сущности в случайности. Но в силу и правду слиянности идеалистического универсализма упований своих с реалистическим индивидуализмом ревливной любви и беспредельной преданности видениям своим верили крепко и светло. В грядущих судьбах России им рисовался универсальный синтез, радость всеразрешающих встреч с единственным во всем, слияние *своего* и *всего*, родимого с вечным. Между тем история развития их мысли о России, «русской идеи» и самой России в ее идее — была вместе и историей развития внутреннего противоречия в славянофильстве.

Не раз указывалось, с разных сторон и по-разному, на коренящуюся в самом внутреннем существе славянофильства противоречивую двойственность. Однако все живое живет противоречиями, и, развиваясь, славянофильство раскрывало и свою внутреннюю антиномичность. Двойственная природа славянофильской мысли вскрывается как противоречие между консервативным национализмом и идеальным универсализмом. Русь былая, живая и явленная в существе своем, и Русь, чаемая в грядущих судьбах своих, Русь, данная в истории, хотя и затемненная в подлинности своей Петровским периодом русской истории и в дореформенном периоде только зачатая, не раскрывшаяся в полноте даров своих, и Русь из идеальной западности, в лучезарной возможности упований, — вот крайние точки

притяжения движущейся мысли славянофилов. И вот ревнивая сыновняя любовь их к родине, всегда пред Господом теплая, нежно и чутко стерегущая всякое дыхание родимой своей, обращена к конкретному своеобразию исторической самородности, к реальному и живому своенравию исторической данности, к неуяснимой и влекущей тайно-питательной и вечно-живой глубине русского у себя бытия; сознание же, насыщенное радугой многоцветных идейных сияний, развернувшееся на зов золотых идей магических возможностей, обращено к всеразрешающему универсальному синтезу.

Антиномия, раскрывавшаяся, но не раскрывшаяся до конца в раннем славянофильстве, коренилась в самой постановке проблемы Востока и Запада.

Западному католически-протестантскому христианству славянофилы противопоставляли христианство православное, восточное. И только здесь в исходном основании своих построений противопоставляли Запад Востоку. По всем другим линиям их мысли Западу противопоставляется Россия, православный русский народ, верный хранитель чистого древнего вселенского христианства. Приняв этот дар из Византии при святом своем князе Владимире всю целостной непечатостью девственных сил народных, всю правдивостью сердца горящего, детски целомудренного, народ русский бережно хранил тот дар, дышал и жил им, именно *жил* на протяжении всей своей многовековой и многострадальной истории, особенно же в дореформенном периоде, нетронутым еще западной цивилизацией чужой и старой Европы. Но верная святыне восточного православия Византии, Россия, как раб верный, не зарыла данные ей пять талантов в землю, а действительно приумножила их. И вот другие пять талантов: это сама Россия, Русь святая, русская быль, государственный и земский строй Древней Руси, самодержавная власть царей, венчаных на царство, как на подвиг Христова служения, и свободная соборность начала народного, крестьянско-христианского, общинность и семейственность, любовь и братство.

Все это, что было или только становилось, только хотело быть, все, что родилось и сказалось в русской истории или только зарождалось и намекало, — послужило основанием славянофильских верований в силу и величие русского народа и славянства, связанного с Русью единством крови и веры, общностью истории и грядущих судеб. Судьбы славянства все в будущем, свободная самобытность этих родственных России народностей еще не развернулась, и *здесь почти непечатая, еще девственная почва* для высокой христиански-братской миссии

России. Иноверный европейский Запад и неверный азиатский Восток давят на славянство с разных сторон. Мусульманская Турция угнетает и продает, католическая Австрия соблазняет и предает. Миссия православной России освободить угнетаемых братьев своих, вернуть их самим себе и славянству, объединить, возродить и с ними вместе возродиться к новой жизни духа, братства и любви. Тогда явится во всей силе и славе своей славянская культура, и сияние света этой зовущей правды всеславянского объединения писатели православно-славянского направления едва попытаются объять.

Но ведь сущность исторического бытия России и славянства, основанная их — на православном Востоке, в Византии. Глубочайший питательный корень там, в византийском христианстве, и писателям православно-славянского направления необходимо было посчитаться с этим до конца. Душа русской души, тайнообразующий дух ее изшел оттуда, из византийского православия.

Двучлен «Россия и славянство» нужно было бы пополнить первым и основным членом: *Восток (Византия), Россия и славянство*. Однако в славянофильстве отношение к Византии двойственное, признательно уклончивое, верное и недоверчивое. «Жизнь политической Византии, — говорит Хомяков, — не соответствовала величию ее духовной жизни, но была не без славы и подвигов». Рядом со стихией христианского начала была здесь в силе языческая стихия, усвоенная, по мнению славянофилов, со стороны Древнего Рима.

«Признавалась просветительная сила христианства, но не признавалась его строительная сила»*. «Христианство в Византии до конца, — говорил Хомяков, — не могло разорвать сплошной сети злых и противохристианских начал. Оно удалилось в душу человека: оно старалось улучшить его частную жизнь, оставляя в стороне его жизнь общественную и произнося только приговор против явных следов язычества; ибо самые великие деятели христианского ученья, воспитанные на гражданском понятии Рима, не могли еще вполне уразуметь ни всей лжи римского общественного права, ни бесконечно трудной задачи общественного построения на христианских началах. Их благодетельная сила разбилась о правильную и слитную кладку римского здания. Единственным убежищем для них оставалась тишина созерцательной жизни. Лучшие, могущественнейшие души удалились от общества, которого не смели осуждать и не

* Хомяков А. С. Т. 7. С. 53.

могли сносить. Всякое светлое начало старалось спасти себя в уединении. Темнее становились города, просиявали пустыни, и добродетели *личные* возносились к Богу как очистительный фимиам, между тем как зловоние общественной неправды, разврата и крови заражало государство и сквернило всю землю византийскую. Ей не было суждено представить истории и миру образец *христианского общества*; но ей было дано великое дело уяснить вполне *христианское ученье*, и она совершила этот подвиг не для себя только, но для нас, для всех будущих веков. Сама империя падала все ниже и ниже, истощая свои нравственные силы в разладе общественных учреждений с нравственным законом, признаваемым всеми; но в душе ее лучших деятелей и мыслителей, в учении школ духовных и в особенностях в святилище пустынь и монастырей, хранилась до конца чистота и цельность просветительного начала. В них спаслась наша будущая Русь» *.

Эту раздвоенность византийской души, создаваемую «непримирным разногласием жизни частной, христианской, и жизни государственной, языческой», принятой самой Византией от Рима, православная Русь не наследовала. «Особенность России, — по мысли И. Киреевского, — заключалась в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское ученье получило в ней, *во всем объеме ее общественного и частного бытия*» **. «В какое время? — спрашивает Хомяков своего друга: — В эпоху ли кровавого спора Ольговичей и Мономаховичей на Юге, Владимирского княжения с Новым-Городом на Севере и безнравственных смут Галича, беспрестанно изменявшего самой Руси? В эпоху ли, когда московские князья, опираясь на действительное и законное стремление большей части земли русской к спасительному единству, употребляли русское золото на подкуп татар и татарское железо на уничтожение своих русских соперников? В эпоху ли Василия Темного?.. и т. д. Нет, велико это слово, и как ни дорога мне родная Русь в ее славе современной и прошедшей, сказать его об ней я не могу и не смею. Не было ни одного народа, ни одной земли, ни одного государства в мире, которому такую похвалу можно бы было приписать хотя приблизительно; и, конечно, она уже слишком непомерна для земли, князья которой не только беспрестанно губили ее своими междоусобиями, но еще без стыда и совести опустошали ее мечом, огнем и разбоем союзников, магометан и

* Там же. Т. 1. С. 219.

** *Киреевский И. В.* Т. 1. С. 219.

язычников» *. Хомяков, таким образом, вводил существенные оговорки в мысль Киреевского и характер усвоения и развития христианских начал в древнерусской жизни понимается им не столь безусловно, как И. В. Киреевским. Но во всяком случае, если не в прошлом, свершенном, то в грядущем и чаемом Россия, по общей мысли славянофилов, призвана раскрыть *христианскую правду о земле*, не раскрытую в византийском православии, ту деятельно-общественную правду, которая в Византии оставалась бездейственной и мертвенной. Но раскрытие это опять, — и тут характерное колебания славянофильской мысли, — не только дано в полноте в исторических русских судьбах, сколько задано в грядущих судьбах. Святая Русь как-то была святой в зачатке, если в возможности и будет в полноте, в свершении конечных судеб своих. Хомяков называет Русь не из-за того, что святость дана в ней, что она спасена, а потому, что она задана, что Русь стремится жить святостью как питательной сущностью, тянется к ней, спасается. «Если русскую землю, — говорит И. Киреевский, — иногда называли *«святой Русью»*, то это единственно с мыслью о тех святынях мощей и монастырей и храмов Божиих, которые в ней находились, а не потому, что ее устройство представляло сопроницание церковности и светскости, как устройство *святой Римской Империи»* **. Таким образом, *sub specie aeternitatis*, Русь — святая Русь, энтелехия ее — святость, нумен свят, временность же, эмпирическая оболочка, феномен — под тленную тяжестью греховных падений и отклонений. Но в смирении, покаянии грешное русское приковано к русскому святому, к святой Руси... Для К. Аксакова, по собственному признанию: «русская история имеет значение *всемирной исповеди*. Она может читаться, как жития святых»... Но, говорит он, «да не подумают, чтобы я считал историю русскую историей народа святого! О, я тем бы нарушил и свое мнение о нем, и святыню его смирения. Нет, конечно, это народ грешный (безгрешного народа быть не может), но постоянно, как христианин, падающий и кающийся». Однако «начало всей своей жизни, от которого, по слабости человеческой, он в поступках и отклонялся иногда, никогда его не отвергая и не переставая к нему стремиться и сознавая в таком случае себя виноватым, — есть вера православная. Недаром Русь зовется святая Русь» ***. Таким образом, святая Русь,

* Киреевский И. В. Т. 1. С. 213—214.

** Там же. С. 205.

*** Аксаков К. С. Т. 1. С. 20.

по мысли К. Аксакова, религиозная совесть русской жизни, больше — живая икона русской святости, святой лик русской вечности. Такая живая иконопись вечной христианской святости мыслима уже потому, что каждый православный человек в духовно-христианском аспекте — потенциально свят, лик его — икона в молебном аспекте, видимая не ему самому, в его отдельной греховной самости, а церковной общности. Не оттого ли кажение в церкви свершается не только в стороны св. ликов икон, но и в сторону молящихся, пред их духовно мыслимой иконой. Вот почему Русь, как выходит по мысли славянофилов, до последнего конца своего не досказанной, свята — не столько в живописном лице, явленном в древнем укладе жизни, сколько в иконописном лике своем, вечно являемом и явимом только в русском апокалипсисе. Таким образом, когда славянофилы противопоставляют западному католически-протестантскому христианству в чистоте хранимое на святой Руси древнее вселенское православие, как гармонически в себе примирающее все противоположные крайности католицизма и протестантизма, личного и общего, единства и множества, авторитета и свободы, то они делают это в виду некоего универсального синтеза, который предносится им как высшая и глубочайшая слиянность правды, уже исполнившейся в России, и еще только обещанной правды о России. И тут в их сознании широко распахиваются двери в какие-то золотые дали мечтательно-возможной и произвольной расцветности. Здесь источники прекрасного и прикрас, всяческих смещений и уподоблений. Свое русское противопоставляется европейскому, то как данное национальное, то как чаемое универсальное. Славянофилы обобщались, таким образом, то к тому, то к другому началу своей внутренней антиномии, не всегда точно различая — к какому именно.

Как бы то ни было, славянофилы, хотя и говорили (устаами Хомякова), что Россия «едва озарилась лучом истинного учения, как уже стала *бесконечно выше Византии*», хотя и чували — носили в сердце своем что-то подлинное, существенно отличное в русском православии, чего как будто не было в православии византийском, но это *что-то* более действенно у них психологически, живо в неясимой глубине религиозной жизни, чем уяснено и формулировано логически, определенно и ответчиво. Особенности русского принятия и исповедования христианства, с самого факта крещения Руси при Владимире Святом, более относятся к силе и душевной настроенности, чем к духовному существу самого православия, таким образом, ха-

рактера более количественного, чем качественного. Славянофильская мысль, все время пламенная и уверенная в себе, все-таки трепетно бьется, пытаясь пробиться за предельный порог, за которым таится искомая подлинная глубь *своего собственно-русского*, и, достигая предела, остается все время только на пороге, а не за порогом. Тайна потайной комнаты остается невыявленной в их формулах и определениях, или... слишком явной. В прекрасном письме Ив. Киреевского Хомякову о тайне воли читаем: «Покуда мысль ясна для разума или доступна слову, она еще бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется до невыразимости, тогда только пришла в зрелость». Мысль об особенностях русского православия, религиозная русская идея только еще развивалась в славянофильстве, «невыразимое», по слову Киреевского, «проглядывало сквозь выражение». О тайне выявления русской религиозной воли в разуме можно сказать то же, что говорит Киреевский в этом письме о тайне в отношениях воли к разуму. «Чем более человек найдет в душе неразгаданного, тем он глубже постиг себя. Чувство, вполне высказанное, перестает быть чувством, и в этом смысле также справедливо слово: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Практическую истину можно извлечь из этого ту, что воля рождается *втайне и воспитывается молчанием*»³. И вправду сказать, молчание волевое и молитвенное у Ив. Вас. Киреевского в его внутреннем церковном опыте православия, в период литературного запрещения и общения со старцами Оптиной Пустыни, выразительнее и действеннее всех, очень значительных, высказанных им и А. С. Хомяковым мыслей о русском православии. В выраженных мыслях славянофилов, в выявленных узорах их сознательного учения (а не в опыте и в жизни, не в психологии и личностях), в конце концов, не уяснена отличная от византийского самоцветная сущность православия собственно русского. Свое, не текучее, культурно-творческое, а существенное, незаменимое, самородное и единственное в нем не выявлено, не показано, не дано. С другой стороны, как мы видели, славянофилы не отличили, ответчиво и строго, свое русское православное от универсально-христианского, рассматривая русское православное как гармонически-универсальное, идеально-синтетическое христианское, и идеальный синтез христианства, как русское. Тем самым в силу логики внутреннего развития своей антиномической сущности славянофильская мысль стала пред дилеммой: или всю силу укрепиться на святой Руси за все конкретное своеобразие, беречь-охранять все исторически данное, пусть своенравное, но свое собствен-

ное, самородно-русское, самобытно-национальное, типическое, исключительное, единственное, хотя бы в основе всего этого и лежало восточно-византийское основоначало, или же отдаться универсальному синтезу идеального христианства, только мыслимого, только чаемого. Найти выход из поставленной славянофильством дилеммы, так или иначе разрешить его внутреннюю антиномию выпало на долю последних славянофилов, которым суждено было замкнуть кольцо русского мессианизма. Причем оказалось, как это ни странно, что из дилеммы были возможны не два, а целых три выхода.

Первый выход в разрешении внутренней антиномии славянофильства в сторону торжества *реального* момента в нем, конкретного, своеобразного, самобытного русского начала; на этом пути «русская идея» раскрывается как древнее вселенское восточное православие, как византизм. Православный Восток — единственно свое собственное самородное, самоцветное в нем, самоценность и высшая ценность. Россия и славянство — только хранилище света с православного Востока, их призвание в охранительном консерватизме, в торжестве исконных начал христианской чистоты и единственности в византийском православии. Таким образом, по существу своему этот путь — *реалистический, исторический, православно-византийский*, по характеру жизненной задачи своей — *охранительный, религиозно-реакционный* и, наконец, по внутреннему духовному строению, как увидим далее, *внутренне-крестный и страстной*.

Второй выход из дилеммы — в разрешении славянофильской антиномии в сторону торжества *идеального* момента в ней. Русское понимается на этом пути как всемирное, универсальное, и «*русская идея*» полагается в создании универсального христианского синтеза, для которого все: и византийское, и славянское, и русское, и европейское — только строительный материал. Призвание святой Руси на этом пути в собрании и устройении всемирной христианской храмины, исторически как бы рассыпанной, в отвержении себя и своего ради всемирного и всего, в самоотречении ради воссоединения, ради христианского всеединства. По существу своему этот путь — *идеалистический, над-исторический, христиански-синтетический*, по природе жизненных задач своих — *общественно-строительный, отвлеченно-творческий*, по внутреннему устройению души — *чувственно-воскресительный и страстный*.

Наконец, возможно, казалось бы, еще третий выход, третий путь. Как нечаянная радость, он мог бы открыться вдруг на одном из поворотов первого пути, на том месте его, где правосла-

вие византийское исторически вливается в православие русское, тайнообразуя его и животворя. Если есть православие *русское*, существенно и провиденциально, а не только по названию, внешне историческому признанию и местному исповедованию, тогда есть и явленная радость нечаянная, своя собственная у нас русских, есть единственное свое — вечное, особенное православное, есть святая Русь, как свое интимное и тайное сочетание в едином существе человеческого русского и божественного Христова, неслиянное с древним вселенским православием византийского Востока и нераздельное с ним. Этот путь не реальный, однако же и не идеальный, или, быть может, тот и другой вместе; не вмещен он в исторической данности, однако и не лучится в надмирном сверх-историческом отрыве отвлеченно-творческого синтеза. Не безнадежно-охранительный он и не в себе замкнутый, но и совсем не строительно-творческий, общественно или лично созидательный. Его как бы вовсе нет и не может быть, но он есть и не может не быть в одно и то же время; молитвенный о благодати он, благодатно-дарственный, *возблагодатствованный, крестный-страстной и воскресный вместе*.

По *первому* пути, в питательную, живую и вещую тему религиозно-национальных нитей истории, в недра сокровенные религиозного древа жизни, в глубь, в созерцательное прошлое, так сказать, вправо, развивалось славянофильство в трудах К. Н. Леонтьева, этого последнего разочарованного славянофила, отозванного от славянофильства звоном «миров иных», однако не отошедшего от него до конца и до конца не уставшего любить и лелеять вечно-ценное и единственное в нем. Изнутри им владела строгая и скорбная, измен не знающая, ревнивая любовь к своему единственному своеобразному, повелительно звала его неприкасаемая монашески-аскетическая святыня духовного начала внутреннего православного опыта.

По *второму* пути, в светозарную явь, в высь и ширь, в мечтательное грядущее, пошел влево в развитие славянофильских замыслов Вл. С. Соловьев, в срединном периоде его религиозно-философских исканий. Разочаровавшийся в славянофильстве и увлекаемый золотисто-розовым сиянием своих размашисто-схематических строительных синтезов, он был изнутри движим душистой радугой общественно-чувственного, душевного, а не духовного начала.

По *третьему* пути, не скажу шел, а только обозначил его нечаянным намеком Ф. М. Достоевский. В явной же, развившейся сущности своих касаний к славянофильству он шел то

по первому пути — в религиозно-общественной и политической проповеди «Дневника писателя» и крупных романов, то по второму пути, бок о бок гранича с Вл. Соловьевым, — в пушкинской своей речи и в некоторых значительных и выразительных местах «Братьев Карамазовых». Хотя все такие выразительные места у Достоевского всегда удобопревратны и он всегда оставил для себя лазейку для возможных перетолкований.

Итак, когда-то *белое*, как перистое белое облачко в золотисто-радужном окружении воздушных перышек, раннее славянофильство первых славянофилов внутренней логикой своего развития по воле судеб должно было, преодолевая скрытое внутри себя противоречие, перейти или в агатово-*черное* славянофильство К. Леонтьева, таинственно блестящее, серебрящееся своей черной глубиной бездонной, или в бледно-*розовое* синтетическое славянофильство Вл. Соловьева, необъятное в пустынной шири далеких перспектив, или, наконец, ухватиться за целомудренно нежные *лазурные* отсветы, что стыдливо голубеют в капризно-змеящихся впадинах и извилах творческих намеков Достоевского.

И вот так слилось славянофильство в кольцо, замкнувшись в точке слияния тремя самоцветными камнями выразительными — в трех этих именах. Загадке о «русской идее», загаданной у славянофилов, К. Леонтьев как бы говорил некое таинственное *да* через явственное, в отчаянии выговариваемое *нет*, Вл. Соловьев через ясно слышное, очевидное *да* говорит тайное *нет*, Достоевский пытался говорить и *да* и *нет*, выговорил *ни да ни нет*, а про себя, чуть слышно прошептал одними губами, не страшным шепотом, как Раскольников Разумихину, а шепотом изумленно-радостным и молитвенно-несмелым, с смиренным дерзновением прошептал что-то такое, что могло бы чудно и просто вдруг покрыть нечаянную радостью *и да и нет*, но, однако, в его устах не покрыло.

